

Словарь лжеца

Автор:

Эли Уильямз

Словарь лжеца

Эли Уильямз

Подтекст

Словарь – ненадежный рассказчик. Особенно словарь, зараженный маунтвизелями.

* маунтвизель (сущ.), фиктивная словарная статья, намеренно вставленная в словарь или энциклопедию для защиты авторских прав.

Гораздо безопаснее читать новеллы.

* новелла (сущ.), небольшая повесть, обыкновенно о любви.

Но и они зачастую оказываются романами...

* роман

(сущ.), повествовательное произведение со сложным сюжетом и многими героями, большая форма эпической прозы.

* роман

(сущ.), любовные отношения.

Чем бы ни прикидывалась эта книга, не верьте ей на слово. Может оказаться, что этого слова не существует, и вы останетесь ни с чем!

Эли Уильямз

Словарь лжеца

Eley Williams

The Liar's Dictionary

© Eley Williams, 2020

© Немцов М., перевод на русский язык, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

* * *

Посвящается Нелл, что чудесней всяких слов

новелла (сущ.), небольшая повесть, обыкновенно о любви

из «Словаря английского языка» Сэмюэла Джонсона (1755)

юнгфтак (сущ.), персидская птица, у мужской особи которой только одно крыло на правой стороне тела, а у женской – только одно крыло на левой; вместо недостающих крыльев у самца имеется костяной крюк, а у самки – костяное ушко, и летать они способны, объединяя крюк и ушко; в одиночестве же каждая особь обречена оставаться на земле

Предисловие

Вообразим, что у вас есть идеальный личный словарь. Какой-нибудь или конкретный – все равно. Не не-идеальный словарь, а лучший, какой только и может для вас существовать.

Скажу точнее: он должен быть скорее печатным, нежели цифровым. Словари – предметы практические. Такой том можно убрать от кого-то подальше, им можно размахивать или изгонять из кухни заблудшую моль. Говорю же, словари – это практично. Вероятно, есть в нем многозначительный вес со слегка обтрепанными уголками: надежный, можно справляться – и у него, и с ним. Возможно, снабдили его шелковой закладкой и номерами страниц, чтоб не завидовал другим книгам на полке. Идеальному предисловию будет известно, зачем словарям номера страниц. Поперек корешка золотом вытиснено название словаря. У бумаги его приятная кремовость и тяжесть, а гарнитура подразумевает изящество, неоспоримо учтивую выдержанность или же выдержанную учтивость. Такую гарнитуру впору играть Джереми Бретту или Ромейн Брукс – высокие скулы у этой гарнитуры. Если вообразать идеальный словарь, на ум приходит кожаный переплет, и если вам случится откинуть верхнюю крышку совершенного словаря ногтем большого пальца, она издаст радующий слух звук фнак-фнак.

Признаю?, объем внимания у меня не так уж велик, поэтому мой идеальный личный словарь будет кратким и содержать в себе лишь такие слова, какие не известны мне, или же те, что я часто забываю. Мой краткий, нескончаемый-как-невежество словарь будет отчасти парадоксом и, вероятно, напечатан на ленте Мёбиуса. Мой невозможный идеальный словарь.

Окунемся же в предисловие и раскроем его, толкнув большими пальцами, как будто разламываем некий спелый плод. (Открывать книгу – вообще-то никогда не так, верно же, и это – скверное сравнение.) Мой идеальный словарь откроется на особенной странице, поскольку там уже разместились шелковая закладка.

Чтобы произвести фунт шелка-сырца, требуется две тысячи пятьсот шелковичных червей.

Каково первое слово, прочитанное наобум на этой странице?

[Я отвлеклась. У некоторых слов имеется талант блуждающим огоньком уводить вас от тропы, на какую вы встали сами, все глубже и глубже в скобки и сноски, в манящие намеки СМ. ТАКЖЕ.]

Сколько именно словарных переплетов можно сделать, счистив кожуру с одной коровы?

Кто вообще читает предисловия к словарям?

фнак-фнак-фнак

Дабы счесть словарь «идеальным», требуется размышление о целях подобной книги. Книга здесь – условное обозначение.

Совершенный словарь не должен быть игрив ради игривости как таковой, чтобы не отпугнуть читателя и не подорвать собственную полезность.

Очевидно то, что совершенному словарю полагается быть правильным. В нем не должно содержаться, к примеру, ни орфографических ошибок, ни опечаток, и ему нельзя делать беспочвенных заявлений. Не должен он являть в своих определениях никакой предвзятости, если не считать той, что стала результатом тщательных и строгих исследований. Но это уже чересчур теоретично – мы ж можем подобраться и поближе к основам: важно, чтобы книжный переплет хотя бы открывался, а типографская краска на страницах отпечатывалась разборчиво. Следует ли словарю регистрировать язык или же закреплять его, зачастую выдвигается как определяющее. Регистрировать, как будто слова – это сколько-то малолетних преступников, которых загнали в некую комнату и там пересчитывают; закреплять, как будто в эту комнату можно впустить лишь сколько-то детей, а потом предстоит залить ее цементом.

Идеальному предисловию ни к чему столько смешанных метафор.

Предисловие к словарю, зачастую пропускаемое, пока читатель вонзает большие пальцы в мякоть плода, полного шелковичных червей и забитых коров, устанавливает цели словаря и его охват. А пропускают его часто потому, что когда словарем пользуются, нужда в нем становится очевидна.

Предисловие к словарю может выступать представлением кому-либо, с кем вам не интересно знакомиться. Предисловие – это представление работы, а не людей. Вам ни к чему знать пол лексикографов, которые над ним самозабвенно трудились. Уж точно – их внешность, их любимую спортивную команду, да и любимую их газету, к примеру, незачем знать. В день, когда они определили варвулю (сущ.) как диалектизм для мелкого сорта яблок, тот факт, что им жала обувь, не должен иметь для вас никакого значения. Не играет роли, что были они с похмелья или у них начиналась простуда, когда определяли они это слово, а равно что и тот воспалившийся волосяной фолликул под самым подбородком – такое бывает вызвано неловким и чересчур поспешным бритьем – пока еще неизвестно для них создаст им до того серьезные медицинские последствия всего через два месяца, что они даже испугаются, не потеряют ли всю нижнюю челюсть. Вам ни к чему знать, что они грезил о том, чтобы все бросить и уехать жить в далекий домик на побережье Корнуолла. Полезного о лексикографах предисловие может сообщить лишь то, что они квалифицированы нелирически распинаться о том, например, как называется определенная разновидность дурацкого мелкого яблочка.

Читатель же идеального словаря – вероятно, для предисловия к словарю тема поинтереснее. Со словарем обыкновенно сверяются, а вовсе не упокоивают его на пюпитре колен и не читают от корки до корки. Так, однако, случается не всегда – есть и такие, кто не полагает за обузу читать громадные справочные труды целиком чисто ради того, чтобы можно было сказать: подвиг совершен. Если порыться в дозаренном плоде истории или энциклопедическом биографическом словаре читателей словарей, такую личность можно отыскать – это Фетх Али-шах Каджар, ему посвящена и краткая биография. Став [СМ. ТАКЖЕ: —] шахом Персии в 1797 году, Фетх Али-шах Каджар получил в подарок третье издание одной очень знаменитой энциклопедии. Прочтя все ее восемнадцать томов, шах расширил свой царский титул так, чтобы в него теперь включался «Значительнейший повелитель и хозяин “Британской

энциклопедии”». Ну и предисловие! Небольшим портретом шаха, иллюстрирующим статью о его жизни, может быть гравюра на стали: он сидит в шелковых одеждах, а рядом с ним горою навалены плоды. За спиной у него – боевой слон. Столько плодов, столько шелковичных червей, столько подразумеваемых фанфар за сценой.

Если поднесете гравюру чересчур близко к глазам, всё превращается в точки и черточки, словно расплетшийся отпечаток пальца.

Быть может, вам попадался тот, кто листает словарь не как читатель, а как пасущееся животное, и тратит часы, уткнувшись носом в сорняки и разнотравье его страниц, погрязнув на заливном лугу его и не видя солнца. Такое я рекомендую. Листать полезно. Можно ошалеть от очертаний и звуков слов, от их щитков, их зонтиков и метелок. Читатели эти – раскапыватели, они в восторге от своих полевых находок. Пьяняще оно, удивление от того, до чего новое слово изысканно или до чего крепки его корни. Давайте сейчас же что-нибудь отыщем. (Предисловия к словарям по тону своему смутно покровительственны.) К примеру, вот эти, возможно, вы уже знаете: пситуризм означает шелест листьев; часть бедра у пчелы называется корбикулой – от латинского слова, обозначающего корзину.

Кое для кого, разумеется, восторг от листания словаря в том, что открываются загадочные или неизвестные слова, и их можно извлечь, словно коровью жвачку, и впечатлить собеседника, припечатав его. Признаю: пситуризм я вытрясла из подростка словаря вам на радость, но жест этот можно рассматривать и как просчитанный. Ловите меня с моим хвастовством; уй-я, слышите – реву я, косвенно, в лесу; давайте расскажу вам о непроизносимой п, которую вы, несомненно, прохлопали, а также что пситуризм, вероятнее всего, произошел от греческого ???????? – шепотливый, клеветнический. Как это чарующе! – говорит такой тип читателя словаря. – Я чаруюсь, потому что мне известно значение этого слова. При подобном применении словарь становится для читателя кормом, вербажом-фуражом. Всем нам известен какой-нибудь такой человек, кто разговаривает не иначе как отхаркиваясь пометом слов. Этот читатель потревожит вашу дрему за оконным столиком кафе лишь ради того, чтобы заметить что-либо об анемотропизме сегодняшнего дня. Он признается в лейкохолии лишь ради того, чтобы употребить это слово в своем извинении, когда выроните вы свою салфетку и подадитесь назад, отодвигая стул. А он погонится за вами напролом через живые изгороди, лишь бы сообщить о верзее вашего бегства.

Конечно, такой читатель словаря также славит красоту слова, его глянец и мощь, но для него ценность его силы превращается в силос.

Варвуля как существительное он применит правильно, да еще и с росчерком. (Предисловие как свехобъяснение, как метанапыщенность.)

Идеального читателя словаря не существует.

Идеальный словарь будет знать разницу между, скажем, «прологом» и «предисловием». Словарь в смысле: ну, и что происходит?

Словарь в смысле ясность – но еще и честность.

Если кто-то и впрямь имеет обыкновение такое упорядочивать – иная категория читателя, – он покоряется склонности словаря отклоняться, а потому направление взгляда мечется от слова к слову – зазубренными взмахами внутри, от страницы к странице. Безо всякого почтения к формальностям чтения слева направо стиль прочитывания у них – петлями и зигзагами поперек столбцов и страниц, а чтение – нечто, управляемое любопытством или цепляемое счастливым озарением.

Следует ли предисловию выставлять больше вопросов, нежели отвечать на них? Следует ли предисловию просто выставляться?

Словарь – ненадежный рассказчик.

Но разве не всем нам выпадали при чтении словаря сокровенные мгновения удовольствия? Просто поплескаться, заходи, вода прелестна – такое вот удовольствие, погружаетесь, только если что-то хватает вас за палец на ноге и не желает разжимать челюсти. Сокровенные наслаждения, какие не выставить на всеобщее обозрение в витринах кафе.

Ощутить наслаждение или удовольствие со словарем возможно. Оно может возникнуть, когда обнаружите подтверждение своей догадки о правописании слова (например, е вместо и) или же извлечете из него то слово, что на миг отлипло от кончика вашего языка. Удовольствие от чтения словаря, а не от пользования им может прийти, если на его страницах вы отыщете слово для вас новое, а оно опрятно описывает ощущение, качество переживания, что до сих пор оставалось безымянным: мгновение солидарности и признания – должно быть, у кого-то было такое же ощущение, как и у меня, я не одинок! Удовольствие может сопровождаться чистейшим ликованием от фактур незнакомого слова, его нового вкуса у вас на зубах. Лузга. Полукустарничек. Анатомия слова, постриженная начисто или застрявшая в зубных сенях.

В некоторых даже вполне современных словарях, если найдете слово жираф, статья о нем заканчивается вот чем: [СМ.: камелопард]. Если найдете камелопард, там говорится: [СМ.: жираф]. Такова экосистема словаря.

С детства учат нас, что словарь начинается, грубо говоря, с агути и заканчивается, грубо говоря, ящером, остальное же – грубая игра в лексическое перетягивание каната между этими двумя, а камелопарды и жирафы – арбитры.

Думаю, идеальный словарь не будет написан от первого лица, потому что должен претендовать на объективность. Вероятно, не следует ему и обращаться вовне на «вы», поскольку это может показаться задиристым. Предисловие должно быть уверено в себе. Словари – они, в смысле, привязаны к томлению, привязаны к доверию, привязаны к жюиссансу и покорству – но все это кажется чуточку чересчур пикантным и нарочитым. Уж точно лучше, если и лексикограф, и пользователь останутся незрими или обойдены вниманием. Неприметнее хорошо известного слова, которое незачем определять.

Идеальное предисловие должно знать, когда закрыть...

Словари – штуки ненадежные, головокружительные. Во многих отношениях безопаснее относиться к собственной памяти как к энциклопедии, а словарь

всегда иметь переносным – во рту. Слова, переходящие из уст в уста, как птенчики принимают пищу от матери.

Сколько сравнений можно уместить в одно предисловие? Насколько бессвязным может предисловие быть? Идеальной книге полагается вязать читателя по рукам и ногам, а в идеальном словаре должно не вязнуть.

На зеленом сафьяне идеального словаря могут быть линии, которые выглядят в точности как рисунок у вас на тыльной стороне руки. Если вонзите ногти в его поверхность, останутся полумесяцы вмятин. Не рассказывайте мне, зачем кому-то может понадобиться так крепко стискивать словарь.

Эту книгу подташнивает от знания. Поименовать что-то – это что-то познать. Здесь есть власть. В силах вы это обадамить и уразуевить? Слова легко отламываются и постоянно растягиваются и вздымаются – шелковичные черви в капкане коренных зубов. Словари как ур-смешанная метафора.

Предисловие как сплошь тары-бары и их растабары.

Идеальный словарь – плод трудов шелковичных червей и рогатого скота, плетущего байки. Слова как жвачка. Каждое определение – панегирик, каждое свидетельство – просвещенная догадка.

У идеального словаря правильные слова и худшие слова – в правильном порядке. В идеальном словаре все это верно и истинно. Неверные определения так же бессмысленны, как и неясное сравнение, так же бесполезны, как невнятное предисловие или неточный рассказчик.

Идеального словаря не существует.

Не каждое слово прекрасно или замечательно – как и не всякий его пользователь или творец.

Отыскание правильного слова может стать сокровенной радостью.

Предисловие может быть сокращением для поверьте мне на слово.

Предисловие может быть сокращением для сунуться в словарь.

«Сунуться в словарь».

«Высунуться из словаря».

высунуться

А – артистичный (прил.)

Дейвид говорил со мною три минуты, не сознавая, что у меня во рту целое яйцо.

Я приняла свою обычную позу для обеда – нахохлилась в чулане с канцтоварами между картриджами для принтера и сложенного башнями почтового скотча. Полдень. Прекрасная это может быть штука – всопеть в себя обед – и частенько это ключевое событие всего рабочего дня. Не единожды стояла я в чулане «Суонзби-Хауса» под его световым люком и лакала суп прямо из картонки или гонялась языком за отдельными рисинками, оставшимися в замаранной емкости «Тапперуэра». Такой обед еще вкуснее, если поглощать его уединенно.

Я сунула в рот сваренное вкрутую яйцо и принялась жевать, читая дюжину слов, обозначающих конверт на разных языках, напечатанных на стенках каких-то коробок с припасами. Чтобы скоротать время, я попыталась запомнить каждое. Vor?tek остается единственным словом по-венгерски, какое я знаю, если не считать «Биро?» и «Рубик», названные фамилиями их изобретателей – писца и человека-головоломки. Я взяла второе крутое яйцо и сунула его в рот.

Последовал обычный объем фырканья и хрюканья лицом-в-корыто, когда дверь приоткрылась и в чулан бочком протиснулся главный редактор Дейвид Суонзби.

Вообще-то титул этот полагался ему лишь по этикету. Происходил Дейвид из великой династии главных редакторов Суонзби. Я была его единственной сотрудницей.

Скованная яйцом, я тарашилась, а он проник за дверь и потянул ее за собой, закрывая.

– А, Мэллори, – произнес Дейвид. – Хорошо, что я вас застал. Можно на пару слов?

Был он представительным семидесятилетним мужчиной и жестикулировал проворно и демонстративно, а в маленьком чулане так совсем не годится. Я слышала, владельцы собак часто выглядят, как их питомцы, – или же питомцы похожи на своих хозяев. Во множестве отношений Дейвид Суонзби походил на свой почерк: до нелепости высокий, аккуратный, тесаный по краям. Я же знавала, что, как и мой почерк, часто выгляжу так, словно меня требуется прибрать или выгладить, возможно – засунуть в автоклав. Пока день тащится по циферблату, и почерк мой, и я сама постепенно превращаемся в сплошной мятый узел. Я тут жеманюсь с выбором слов: мятый, как потрепанный и вытертый, подчеркивает уют и приветливость, – хочу же сказать, что под конец рабочего дня выгляжу я паршиво. Казалось, складки отыскивают меня и ведут счет у меня на одежде и на коже, а я отсчитываю часы до той поры, когда можно пойти домой. В «Суонзби-Хаусе» это большого значения не имеет.

Дейвид Суонзби угрозы своим физическим присутствием не представлял, и несправедливо говорить, будто он загнал меня в чуланный угол. Однако помещение не было достаточно велико для двоих, и угол все-таки наличествовал – и, разумеется, в тот миг я имела непосредственное значение для того, чтобы это существительное оказалось в местном падеже.

Я дожидалась, пока начальник не сообщит мне, чего ему нужно, но он упорствовал в светской болтовне. Упомянул что-то безобидное о погоде и недавних спортивных победах и смятениях, затем снова вспомнил погоду, а когда с этим наконец разобрался, я уже запаниковала – с яйценабитым ртом: вот сейчас он же наверняка ждет от меня какого-то отклика, или что я соизволю предложить ему какую-то собственную мысль, или признаюсь в чем-то или хотя бы чем-то поделюсь в ответ? Я прикинула, что? произойдет, если я попытаюсь проглотить яйцо разом – или жевать его, одновременно беседуя как ни в чем не бывало. Или же мне следует спокойно его выплюнуть, влажно поблескивающее, с отметинами зубов, в руку и попросить у Дейвида наконец выложить, что ему от меня нужно, как будто это самое обыденное поведение на свете?

Дейвид покрутил ручку этикет-пистолета, лежавшего на уровне его глаз. Чуть сдвинул, чтоб лежал на полке поровнее. Таковы редакторские повадки, подумала я. Он возвел взор к световому люку.

– Никак не могу привыкнуть к этому свету, – произнес он. – А вы? Такой ясный.

Я шамкнула.

– Вы только посмотрите. – Он перевел взгляд со светового люка на свои ботинки в жидкой солнечной лужице.

С моей стороны – одобрительные шумы.

– Априцид, – проговорил Дейвид. Произнес он его с жаром. Тем, кто работает со словом, такое нравится: отчетливо произносить что-то с восхищенными росчерками, как знатокам, и показывать, что вот у нас тот, кто знает цену хорошему слову, терруар его этимологии и редкость его марки. Затем он нахмурился, умолк. Не поправился, но я, к сожалению, помнила это слово по Тому 1 «Нового энциклопедического словаря Суонзби». Дейвид имел в виду априцитность (сущ.), тепло солнца зимой. Априцид (сущ.) означает церемониальное убийство кабанов.

Том «Нового энциклопедического словаря Суонзби» можно углядеть как заплесневелый реквизит на каминной доске в каком-нибудь гастропабе – или порой наблюдать, как его передают с книжного стенда на церковном празднике в благотворительную лавку, а оттуда вашему местному производителю подстилок для хомячков. Не первый, не лучший и уж точно не самый знаменитый словарь английского языка, «Суонзби» как справочный труд всегда был бледной тенью своих соперников – с первого печатного издания в 1930 году по сегодняшний день он и близко не снискал ни успеха, ни скрупулезности «Британники» и «Оксфордского английского словаря». Тех лоснящихся темно-синих катафалков. «Суонзби» также гораздо менее удачлив, нежели «Коллинз» или «Чэмберз», «Мерриэм-Уэбстер» или «Макмиллан». На место в общественном воображении «Суонзби» может претендовать лишь в силу того, что неполон.

Не знаю, расположены люди к почти-полному словарю потому, что всем нравится недомыслие, или же из-за шаденфройде, сопровождающего любое

неудавшееся великое предприятие. Со «Суонзби» работа многих десятков лет оказалась совершенно сведена на нет и утратила вес – неспособностью, в конечном счете, посулить что-нибудь слишком уж оптимистическое.

Если спросите Дейвида Суонзби о природе «Суонзби» как незавершенного проекта, а потому неудачи, он выпрямится во весь свой примерно двухсотфутовый рост и скажет вам, что опирается на цитату из Одена: произведение искусства никогда не завершается, его просто бросают. Затем Дейвид осечется, удерет к книжной полке, вернется десять минут спустя и скажет, конечно, что именно эта цитата – из Жана Кокто. Пройдет еще десять минут, и Дейвид Суонзби отыщет вас и растолкует, что реплику эту первым и лучше всех произнес Поль Валери.

Дейвид Суонзби был из тех, кто любит цитировать и делает это часто. Из кожи вон лез, чтобы доказать, до чего не безразлична ему точность цитаты. Кроме этого, он не задумываясь мягко укорял тех, кто существительное цитация использовал для обозначения цитаты, на что я б рекомендовала не распылаться по пустякам, но я всего лишь стажер.

Я кивнула еще раз. Яйцо у меня во рту было Юпитером, яйцо стало всей моей головой.

Нация, возможно, и любит «Новый энциклопедический словарь Суонзби» из-за того, что он художественно либо философски пленяет ее своей незавершенностью.

Не таковым Дейvidу хотелось его вылепить: «Суонзби» отнюдь не текстовый эквивалент Восьмой симфонии Шуберта, «Поклонения волхвов» Леонардо да Винчи или Саграды Фамилии Гауди. Можно определенно восхищаться вложенными в него трудами. «Новый энциклопедический словарь Суонзби» охватывает девять томов и всего содержит 222 471 313 букв и цифр. Для тех, кому достает времени или терпения на математику: между толстыми крышками его переплета, обтянутого зеленым сафьяном, – приблизительно 161 мила типографского шрифта. У меня же терпения к математике не было, а вот время на этой стажировке уж точно имелось. Когда я только вступала в свою роль в «Суонзби-Хаусе», мой дедушка сказал мне, что самое важное качество словаря – в том, чтобы он помещался в карман: такой объем, вероятно, все равно охватит все важные слова, сказал он, словарь останется достаточно тонок, чтобы сопровождать тебя, куда б ты ни отправился, и при этом не исказить хорошей

портновской работы. Я не была уверена, понимает ли он, что? означает «стажировка» («Ты сказала фуражировка? – вопил он в трубку, не получая внятного ответа. Попробовал снова: – Или жировка?»), но, казалось, рад за меня. Да что там пулю – девять томов первого издания «Нового энциклопедического словаря Суонзби» (1930) могли, вероятно, остановить танк.

В XIX веке в лондонском «Суонзби-Хаусе» служило свыше ста лексикографов, и все они корпели в огромном издательстве. Каждому служащему, о чем знали все, в подарок доставались регламентированный кожаный портфель «Суонзби-Хауса», регламентированная перьевая ручка «Суонзби-Хауса» и бумага для заметок с колофоном «Суонзби-Хауса». Бог весть, кто все это финансировал, но единообразную самость торговой марки они уж точно ценили. В то время господствовал миф, что лексикографов на эти хорошо оплачиваемые должности набирают прямиком из университета, дабы они создали главный британский энциклопедический словарь. Время от времени я думала о них – об этих юных щеголях, вероятно, моложе меня, кого больше века назад выдернули из учебы и приставили к работе над языком в этом самом доме. На них давили – нужно выпустить первое издание до того, как это удалось бы «Оксфордскому английскому», потому что каков же смысл в качественно определенных словах и статьях, основанных на тщательных изысканиях, если их не признают великими раньше прочих? Прадед Дейвида Суонзби руководил всем этим предприятием с середины 1850-х. Имя он носил Герольф, что неизменно побуждало меня дополнительно проверить его орфографию. Портрет этого патриция с окладистой бородой до сих пор висит в нижнем вестибюле. Как раз для такого лица изобрели слово брадатый. Герольф Суонзби выглядел так, словно изо рта у него должно пахнуть сладким. Не скверно – просто неприятно. Не спрашивайте у меня, с чего это я решила или как могла догадаться, всего лишь глядя на портрет. Кое в чем возможно распознать правду и безо всякой веской причины.

На этой стажировке я провела три года. В мой первый день на экскурсии по зданию мне изложили историю компании. Показали портреты ее первоначальных замредакторов и финансистов, которые состязались за то, чтобы компания жила дальше – и до войн, и после. Началось все с проф. Герольфа Суонзби, зажиточного человека, которого, казалось, так и умащивали средствами для его лексикографического предприятия. К концу XIX века собрал он довольно для того, чтобы по адресу напротив Сент-Джеймзского парка начались строительные работы. Недвижимость возвели специально для этих целей, и для своего времени здание было последним словом техники: спроектировал его архитектор Бэзил Слейд – и оборудовал такими удобствами, как телефон, электрический лифт и синхронный тактовый генератор, которые

своими электрическими импульсами обеспечивал точность хода всех часов в здании. А сам дом проф. Герольф Суонзби назвал в свою честь. Подъемник разработали «по последнему слову техники» так, чтобы он спускался в цоколь здания, где располагались громадные металлические паровые печатные станки, купленные и установленные там с самого начала брадатом прадедом Дейвида Суонзби – в ожидании того, когда составление словаря завершится от А до Я и он уйдет в печать. С самого начала предприятие сорило деньгами.

Прежде, чем напечатали хотя бы одно издание «Словаря», не успели они даже добраться до слов, начинающихся с «Я», как работа вдруг прекратилась. Все это первое, дорогостоящее предприятие по созданию «Энциклопедического словаря Суонзби» прервалось, когда лексикографов его призвали в армию, и все они в массе своей погибли в Первой мировой войне. Каждый день я ходила мимо каменного мемориала, посвященного этим юношам, на стене «Суонзби-Хауса»: указатель их имен в алфавитном порядке был высечен на мраморе.

Незавершенный словарь – его грандиозные надежды на заново упорядоченный мир пресечены, потенциал так до конца и не реализован – сочли уместным памятником прерванному поколению.

Это я понимаю. Мне от такого глубоко неуютно по разным причинам, но такое я понимаю. Словарь существует в незавершенном изданном виде как печальная, порожняя, безрадостная шутка.

Те первые станки переплавили на боеприпасы для мировой войны. Когда меня водили по зданию, эту подробность я учла всего лишь кивком. Ум мой занимало лишь то, что я наконец-то сама начну зарабатывать себе на жизнь.

Мы с Дейвидом работали в обшарпанных кабинетах второго этажа «Суонзби-Хауса». Учитывая его блистательное расположение у Сент-Джеймзского парка и Уайт-холла, его чудесные исторические черты и само пространство, нижние этажи и огромный вестибюль здания сдавались в аренду для всяких презентаций, конференций или свадеб. Для посетителей там все поддерживалось довольно роскошно и внушительно, и Дейвид нанимал различных сторонних распорядителей, чтоб они оборудовали помещение шатрами, рекламными растяжками и флористикой согласно вкусам различных клиентов. Верхние же этажи оставались закрыты для мероприятий: хотя внизу все содержалось в чистоте и порядке, латунную фурнитуру драили каждый день, а пыль не подпускали и близко, заброшенные верхние ярусы над нашими

кабинетами никто не трогал и не использовал. Я воображала, что чехлов от пыли там, наверное, хватит на то, чтобы придать зримые очертания целой деревне призраков, а паутина свисает со стропил толстая, как сахарная вата. Время от времени до меня доносилась возня крыс или белок – или еще чего-то немислимого, что бегало над потолком моего кабинета. От этого мне на стол иногда слетала штукатурка. При Дейвиде я об этом не заикалась. Дейвид не заикался об этом при мне.

Комнаты, которые мы занимали, ютились между этим вот нижним – глянцевым и праздничным – мероприятием, какое хоть сейчас в рекламную брошюру, и призрачно-крысиными заброшенными верхними этажами. Кабинеты нам переобустроили уныло, невыразительно, по-современному: если по лестнице поднимался какой-нибудь заблудившийся посетитель, первым делом он натыкался на мою комнату. Располагалась она рядом с замызганной фотокопировальной, дальше был чулан с канцтоварами и в конце коридора – кабинет Дейвида Суонзби. Это помещение было самым крупным, но все равно возникало ощущение темноты – от книг, конторских шкафчиков и папок с документами.

Только эти помещения и остались от всего размаха и амбиций «Суонзби». Я считала, что мне повезло, раз у меня теперь свой кабинет, пусть и крохотный. Единственный наемный работник такого крупного, солидного издательства. Следовало радоваться, что в моем распоряжении все это место – пусть даже то, что некогда было последним словом техники, а теперь постепенно ветшало.

Вам, должно быть, известно выражение слова-хамелеоны – намеренно двусмысленные заявления, используемые для того, чтобы сбить с панталыку, они «заманивают и подменяют» языком. О таких словах-хамелеонах я думаю всякий раз, стоит мне услышать оборот «по последнему слову техники». Какой техники и кто произнес это слово? Например, «в моем кабинете воздух кондиционируется по последнему слову техники» как фраза не подразумевает, что ветхость – техническое состояние моего кондиционера, а слово в данном случае может относиться к «зловещему гулу из ящика над вашей головой, раз в две недели непреклонно сочащегося желтой живицей в принтер».

Фразеологизм слова-хамелеоны, очевидно, происходит из того фольклора, в каком хамелеоны умеют слизнуть содержимое мотылька, оставив нетронутыми крылышки. Поучите хамелеона мотыльков лопать. Слова-хамелеоны – пустые, бессодержательные, бессмысленные заявления. В моем рекомендательном

письме и резюме на эту стажировку содержались кое-какие слова-хамелеоны, касающиеся сосредоточенности и внимания к деталям, равно как и орфографическая ошибка в написании слова увлеченная.

* * *

Работой моей было отвечать на телефонные звонки, поступавшие каждый день. Поступали все они от одного человека, и во всех содержались угрозы взорвать здание.

Подозреваю, что звонки эти и были причиной моей стажировки: дело не выглядело так, что у «Суонзби» водились лишние деньги, какими можно осыпать «жадных до опыта работы» (цитата здесь необходима) двадцатилеток. Моя последняя занятость оплачивалась из расчета менее ?1,50 в час и сводилась к тому, чтобы стоять у конвейера и поворачивать неглазированных имбирных человечков на 30°. При собеседовании с Дейвидом и в своем резюме я об этом не упоминала – оказаться в «Суонзби» хотя бы значило, что мне больше не будут сниться безликие хрупкие тельца.

Чтобы не сойти с ума, время между звонками я проводила, читая словарь, – проглядывала том, открытый у меня на рабочем столе. Диплом (сущ.), читала я, «документ, выпущенный той или иной высшей признанной властью»; диплопия (сущ.), «поражение зрения, при котором предметы дwoятся»; диплопия (сущ.), «поражение зрения, при котором предметы дwoятся»; диплостемонный (прил., ботаника), «имеющий два круга тычинок или обладающий вдвое большим количеством тычинок против количества лепестков».

Теперь используй три эти слова в предложении, думала я. А после этого опять звонил телефон.

– Доброе утро, «Суонзби-Хаус», чем я могу вам помочь?

– Чтоб вам в аду гореть.

Природа моих обязанностей при собеседовании не упоминалась. Могу понять почему. В мой первый день в конторе, снимая трубку без малейшего понятия, что грядет, я откашлялась и бодро, слишком уж бодро произнесла:

– Доброе утро, «Суонзби-Хаус», это Мэллори – чем я могу вам помочь?

Помню, что голос впервые возлегший мне на плечо, вздохнул. Обсуждая это потом, мы с Дейвидом решили, что речь маскировалась неким механическим устройством или приложением, чтобы звучало, как у мультяшного робота. В то время я этого еще не знала. Голос звучал металлически, словно бы что-то разваливалось.

– Простите? – переспросила я. Оглядываясь теперь в прошлое, не знаю, инстинкт это был или нервозность первого дня на работе. – Я не расслышала, нельзя ли попросить вас повторить...

– Чтоб вам всем сдохнуть, – произнес голос. И трубку повесили.

Бывали дни, когда голос звучал по-мужски, в иные разы – по-женски, а иногда – словно барашек из мультфильма. Можно решить, что отвечать на такие звонки после первой пары недель стало бы делом обыденным – такое же рядовое событие, как чихать или открывать почту, но уже совсем скоро я осознала, что таков мой распорядок каждое утро: едва начинал звонить телефон, тело мое закручивало циклом всех физических кратких обозначений ужаса. От лица отливала кровь и густо сворачивалась гремучими узлами в висках и ушах. Ноги слабели, а обзор сужался, поле зрения стягивалось. Если б вам довелось на меня посмотреть, самым очевидным воздействием оказалось бы то, что каждое утро, пока я тянулась к телефону, по всей длине моя рука покрывалась мурашками, гусиной кожей и перипсихисом.

* * *

В нашем тесном чулане в тот обеденный перерыв Дейвид не спускал глаз с какой-то полки.

– Звонок? – спросил он. – Его ли я слышал в десять часов?

Я кивнула.

Дейвид расправил руку и неумело меня приобнял.

Ему в плечо я пробормотала спасибо. Он отстранился и вновь поправил на полке этикет-пистолет.

– Загляните ко мне в кабинет, как только завершите со своим... – он глянул на уже-опустевший «Тапперуэр» у меня в руках, очевидно, впервые заметив его, – ...обеденным контейнером.

И вслед за этим редактор-во-главе оставил стажера-на-посту ее чулану, априцитности и световому люку. Там я простояла полную секунду, после чего, доедая свое последнее крутое яйцо, поискала в телефоне поддиафрагмально-абдоминальный толчок. На правильное написание ушло четыре попытки, и в конце я сдалась и предоставила Автозамене обойтись со мною по-своему – хваткой Хаймлиха.

Б – блефовать (гл.)

Посреди своего четвертого урока дикции Питер Трепсвернон пережил откровенье: лучше всего удастся ему победить головную боль, если он подожмет обе ноги себе к подбородку и закатится прямым в пылающий очаг д-ра Рошфорта-Смита.

– «В животе журчит желаньем желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, жадно жрет кусок инжира».

Доктор повторил выдержку. Он не заметил, как его пациент бросает второй томительный взгляд на камин.

Если верить свидетельским рекомендациям в газетах («Всего Лишь С Небольшим Усильем И Вы Тоже Достигнете Совершенства В Произношенье!»), на д-ра Рошфорта-Смита в Лондоне имелся немалый спрос. Гостевая книга у него в приемной пестрела фамилиями множества политиков, представителей духовенства, а недавним дополнением к ней выступал ведущий чревовещатель из «Тиволи»: были в ней все неправильные прикусы, все лепетуны, заики и хрипуны, все косноязыкие сильные мира сего. Трепсвернону вдруг подумалось: так же возьмется в передней другие посетители доктора, вручая

домоуправительнице свои головные уборы, или нет. Уж наверняка не все столь же мучительно выжимают из себя светскую болтовню в коридорах перед своими назначениями и чрезмерно извиняются за то, что впустили внутрь холодный январский воздух Челси? Они-то, верно, сидят ровно в своих креслах и рады тому, что из их легких наконец-то выманят полноту вдоха, а уста им скрутит так, что станут те проворны. Трепсвернон сомневался, что многие пациенсы доктора столь же униженно горбятся. Они б не стали пытаться повторять скороговорки, от каких язык себе сломаешь, если вчерашний виски еще обволакивал им гортань, а мигрень с размаху топотала им по варолиевому мосту.

Выражение варолиев мост Трепсвернон узнал накануне. Он не был уверен, что до конца понимает его значение: тот, кто произнес его, постучал себе по загривку, а затем по лбу, говоря это, как бы предоставляя контекст для употребления, – но сами очертанье и звук этого выражения засели у Трепсвернона в уме, словно мелодия, какую никак не перестать мурлыкать.

Его отношения с понятием варолиев мост и со словами вообще прокисли с тех пор, как он узнал о его существовании. Случай мимолетного знакомства порождает презрение. Ранее тем же утром Трепсвернон проснулся, все еще во вчерашнем вечернем костюме, а меж ушей у него рикошетило выражение варолиев мост. Отмечали день рождения знакомца, им сравнялся возраст жажды, и празднование вскорости накренилось от благовоспитанности к буйному веселью, а оттуда очень быстро превратилось в пьянку. Мост мост мост. Со временем отыскав собственное лицо в зеркале своей гардеробной, Трепсвернон с ужасом произвел неуклюжий и все еще пьяный утренний смотр монаршему себе. Галстук-бабочку откуда-то у себя со лба смахнул и содрал с подбородка перья из подушки, сальные от помады для волос. И лишь изъяв стопы из парадных ботинок, вспомнил он о том, что ему назначено. Применивши к ногам свежие чулки и презрев поиски зонтика, Трепсвернон выскочил за дверь и пошлепал к Челси.

Д-р Рошфорт-Смит рассматривал лицо посетителя. Трепсвернон откашлялся, дабы упрочить хватку свою на мыслях и чтобы его расслышали за птичьим пеньем – мелкой, однако пагубной черточке апартаментов доктора. Беда была вовсе не в том, что птица насвистывала весь еженедельный час его леченья. Простой посвист был бы благом. Свист бы спас положение. Эта же птица подчеркнута привлекала взгляд Трепсвернона с другой стороны комнаты, едва он усаживался в кресло, после чего с чем-то близким к истинной

злонамеренности делала глубокий вдох и выпускала орнитологический эквивалент утробного рева.

Политики, представители духовенства и ведущий чревовещатель из «Тиволи», вероятно, разделяли искушение Трепсвернона вышвырнуть птичью клетку вместе с ее обитателем из окна д-ра Рошфорта-Смита.

Доктор повторил свою фразу:

– «В животе журчит...»

Трепсвернон толком и не знал, что это за сорт певчей птицы. После первой врачебной консультации он поискал возможных кандидатов в попытке лучше узнать своего врага. Служил Трепсвернон в энциклопедическом словаре – кому как не ему знать, у кого спрашивать и каким книгам в этом вопросе доверять. Определить тип птицы по памяти и со злобы превратилось у него в одержимость на неделю, привело к ущербу для той действительной работы, каковую ему полагалось выполнять. Он корпел над зоологическими реестрами и листал иллюстрированные справочники, но пусть и набрался сведений о трофических привычках различных мелких птах, маршрутах их перелетов, таксономиях, применении муравьев для чистки оперенья, употреблении и злоупотреблении в мифологии и фольклоре, положеньях в меню рестораторов и декларациях модисток, и т. д., и т. п., вид этой птички оставался загадкой. По сути своей она была воробьем с доступом к театральной костюмерной. Никакой энциклопедический словарь вам этого не сообщит, но Трепсвернон желал бы сделать достоянием общественности, что если певчая птаха и призвана блистать, образчик, проживающий у д-ра Рошфорта-Смита, как раз таковою и был. Если птица вообще способна злопыхать, как раз сей вид и воспользовался бы подобным преимуществом. У нее постоянно был такой вид, словно она выжидает своего часа.

– «В животе журчит желаньем желтый дервиш из Алжира – произнес д-р Рошфорт-Смит, – и, жонглируя ножами, жадно жрет кусок инжира».

Певчая птаха была нелепого оранжевого оттенка. Почти весь консультационный кабинет д-ра Рошфорта-Смита был оранжев – до той степени, что Трепсвернон мог бы и список составить:

Консультационный кабинет д-ра Рошфорта-Смита

(оранжевые замысловатости оного)

абрикосовый, алый, бурый, вермилонный, вотяцкий, гессонитовый, господи-боже-гленливетовый, дынный, золотистый, иволговый, имбирный, календульный, каштановый, киноварный, коралловый, ксантосидеритовый, латунный, лахарический, мандаринный, мармеладный, медный, медовый, мимолетовый, морковный, орангутановый, охристый, паприкашевый, песчаный, пламенеющий, позлащенный, ржавый, рубединозный, рудой, румяный, рыжий, сангинный, смуглый, спессартиновый, тигровый, тициановый, тлеющий, топазовый, тыквенный, хняный, цитрусовый, шафранный, янтарный...

Оранжевые стенные драпировки, оранжевые атласные покрывала, строй ярко-оранжевой мебели, отделанной ореховой заболонью, оранжевая певчая птица. Контрастируя со всем этим, сам Рошфорт-Смит неизменно носил твид чрезвычайно лишайникового извода. Возможно, все дело в головной боли, но на этом четвертом занятии по дикции Трепсвернон подумал, что костюм этот не гармонирует с убранством комнаты с какой-то новой и в особенности энергичной свирепостью.

Когда Трепсвернон только вошел в комнату, птица на пробу испустила несколько трелей, а после приступила к продолжительному грассирующему щебету. Часы что-то икали о ходе времени, д-р Рошфорт-Смит завел свое мрачное заклинание о желанье желтого дервиша, а птица решила, что таланты ее будут лучше растрчены на перкуссионные искусства, а не на какую-то простую ариэтту, и принялась колотиться всем телом о прутья клетки.

Доктор склонил голову набок и выжидал. Трепсвернон закрыл глаза, призвал на помощь всю свою решимость и повторил комнате фразу. Каждый слог требовал усилия плохо продуманной лжи.

– «В живо...»

БЛЯМ, лязгнула птичья клетка.

– «...из Ал...»

БЛЯМ

– «...жонгли?...»

дзыНИНГ дзынь

ДЗЫНЬ ДЗЫНЬ-ДЛИНЬ дзынь

дзынь ДЛИНЬ дллинблинглинг

Лязг, визг, вчерашние злоупотребленья виски: головная боль прокусила череп Трепсвернона по всей его длине и качнула его назад – побежденный, он рухнул в недра своего кресла.

Официальной причиной нынешних визитов к д-ру Рошфорту-Смиту была шепелявость Трепсвернона. Сам он эти консультации не абонировал и довольно-таки противился даже мысли о них по одной очень веской причине: шепелявость его была совершенно искусственна. С самого детства и всю свою юность – и уж определенно те пять лет, что он трудился в «Новом энциклопедическом словаре Суонзби», – Питер Трепсвернон сооружал, поддерживал и совершенствовал в себе поддельный порок речи.

Он не был уверен, что измыслил шепелявость эту по какой-либо иной причине, нежели чистая скука. Возможно, и было у него детское ребяческое представление, что шепелявость добавляет ему подкупающих черт, и с раннего возраста подобная перемена его собственной речи вынуждала других людей относиться к нему с преувеличенной нежностью. Насколько было ему известно – а больше ему и дела-то не было, – обман этот никому не вредил. Простые наслажденья, мелкие утешенья.

Время от времени наедине с собой Трепсвернон повторял перед зеркальцем для бритья свою фамилию лишь для того, чтобы удостовериться: привычка шепелявить в нем не укоренилась.

– «Желаньем»! – стоял на своем доктор.

– «Желаньем», – повторил Трепсвернон. Язык его скользнул по задней поверхности зубов.

* * *

Мать Трепсвернона считала его мальчишескую шепелявость милой, а вот отец находил ее вздорной. От этого дитя Трепсвернон преисполнялся еще большей решимости поддерживать в себе притворство. Двоюродный дедушка по отцовской линии говорил точно так же, и целая семейная легенда вращалась вокруг внезапной робости предка, когда «Таймз» вдруг поменяла на своих страницах долгую срединную *f* на *s*, так что его сердитые провозглашенья «пофтыдно!» и «прифкорбно!» за завтраком уже нельзя было списывать просто на слишком быстрое чтение. По правде сказать, семейную эту легенду сочинил сам Трепсвернон, дабы уснащать ею беседы, когда паузы в них становились чересчур нестерпимы. Когда явного вреда от лжи не наблюдалось, Трепсвернон лгал непринужденно. Завершив свое школьное образование, когда обвинения в женственности и последствия того, что воспринималось как таковая, должным образом опровергались на спортивных площадках и в карцере, Трепсвернон подумывал оставить шепелявость позади – вместе с аспидными досками и учебниками. Однако по привычке, а то и нервничая при собеседовании, устраиваясь на мелкую должность корректора в «Новом энциклопедическом словаре Суонзби», у него случайно проскользнуло «фюффэфтвенно».

Взгляд редактора смягчился в несомненном сочувствии. Шепелявость сохранилась, а Трепсвернон обрел осмысленную службу.

Шепелявость стала обременительна, когда труды Трепсвернона в «Суонзби» сосредоточились на букве «С». Изо дня в день он тасовал по своему столу зеленовато-голубые каталожные карточки, исписанные словами на «С», заглавные слова и глоссы – сплошь присвисты и точное шипенье. Тот же редактор, что некогда был так расположен к несуществующему недостатку Трепсвернона при собеседовании, призвал его к себе от его стола и объяснил – мягко, – что в этом году вместо рождественской премии Трепсвернон поступит на курс занятий у одного из ведущих преподавателей дикции в Европе.

– Поскольку мы приступаем к тому «Риптаж – Существенный», – сказал тогда проф. Герольф Суонзби, возложив руку Трепсвернону на плечо. Стоял он так близко, что Трепсвернон улавливал его дыхание – странную смесь цедры и лучшего табака от «Фрибурга и Трейера». – Я подумал, что самое время было бы с этим разобраться, – понимаете, раз вы продолжаете трудиться послом нашего великого «Нового энциклопедического словаря Суонзби».

– Послом, сударь?

Помедлив, Суонзби ответил, стараясь при этом выглядеть милостиво:

– Именно. – Хватка на плече у Трепсвернона сделалась чуть крепче.

Пришепетывание стало такой неотъемлемой частью самоопределения Трепсвернона и его присутствия в «Суонзби», что предложение это трудно было опровергнуть или от него отмахнуться. Занятия с д-ром Рошфортом-Смитом были должным манером назначены по значительной стоимости за счет компании – и вот так и вышло, что тем январем Трепсвернон уже четыре недели подряд откидывался на спинку оранжевого кресла, сражаясь с мигренью и притворяясь перед доктором, будто шепелявит.

Методы обучения д-ра Рошфорта-Смита оказались любопытны, однако не то чтоб вовсе не приятственны. Отчасти было так благодаря привнесенному духу игры в кошки-мышки, ибо Трепсвернону приходилось скрывать свою совершенно обычную дикцию и старательно избегать разоблачения. На их последней встрече задействовали гальку – ее разместили во рту при чтении отрывков из Ковердейлова издания Библии, принадлежавшего д-ру Рошфорту-Смиту. На другой устроили нечто вроде кукольного театра, где в спектакле являли активную мускулатуру говорящего рта посредством шелковой модели человеческого языка, размером превосходящей натуральный орган. Трепсвернону сообщили, что язык сей был изготовлен отсутствующей миссис Рошфорт-Смит. Хотя женщиною та наверняка была многоталанной, Трепсвернону в тот раз взбрело на ум, что изготовление языков вряд ли относилось к числу ее дарований. Несколько швов на языке были уж слишком очевидны, а пряди набивки кое-где выбивались из них печальными бугорками. Штуковину эту надежно зажимали челюсти, снабженные двумя комплектами зубов из вулканизированной резины, и Трепсвернон добрые полчаса наблюдал, как д-р Рошфорт-Смит показывает ему способы, какими можно улучшить себе дикцию.

Предположительно подготовленный и снаряженный к следующему показу, сегодня язык нетрепливо болтался на гвоздике у двери.

Обеими руками д-р Рошфорт-Смит держал камертон.

– Высота вашего тона, – говорил доктор, – адекватна, а сам тон уверен. Но вот я бы попросил: «желаньем» – еще разок?

Возможно, он полностью осознавал, что шепелявость фальшива: Если вы тратите мое время, я запикаю и затренькаю ваше. Таково было единственное разумное объяснение камертону, приходившее в голову Трепсвернону. Да и вообще сомнительно, чтоб его резонансные колебания различались за птичьим пением. Он понятия не имел, как д-р Рошфорт-Смит терпит этот звук – для Трепсвернона головная боль уже приступила к выжиманию жидкости или выщипыванию какой-то особенной ноты из его оптического нерва. В ушах у него колотилась кровь: мост мост мост, – а у д-ра Рошфорта-Смита вдруг обнаружилось либо чересчур много зубов, либо слишком уж маленький рот. Если сощуриться, все может несколько проясниться, подумал Трепсвернон. Возможно, тщательная, согласованная настройка глаз посредством вращения ворота и нарежет мир на терпимые ломти. Ему не хотелось выглядеть грубым. Тише едешь – дальше будешь, Буйволы, – ему нужно лишь на чуточку приспустить брови и сложить на лбу тончайшую из складок, чтобы прищур его сошел за внимательность.

Камертон д-ра Рошфорта-Смита ударил еще раз, и лицо у Трепсвернона прогнулось.

Вообще-то должно существовать особое слово, связанное с воздействием употребленного избытка алкоголя. Головные боли, бурлящая паранойя – кажется, что язык беднее от того, что нет в нем такого слова. Трепсвернон решил, что поднимет этот вопрос с кем-нибудь из редакторов.

Причиной ужасов сегодняшнего утра был виски, и в этом отношении Трепсвернон был уверен, но и вина, коньяки и дистилляты предшествовавшей ночи, несомненно, внесли свой вклад. Отчасти винить к тому ж следовало и то, что перед празднованием он поел недостаточно. Трепсвернон помнил, что покупал с тележки несколько каштанов. Он не мог поклясться, что ужинал чем-

то еще помимо них, и, по размышлении, заподозрил, что каштаны перед жаркой, должно быть, сварили, дабы смотрелись они пухлей. Скверные каштаны, выпивки столько, что и буйвола с ног свалило б, – Трепсвернон вернул эту скудную трапезу на обледеневшую мостовую раннего утра где-то подле Королевского оперного театра. Воспоминанья сгущались и поблескивали новою яркостью. В пакость эту какая-то дама уронила лорнет, и Трепсвернон, пыша оконьяченным блаженством, сгреб оттуда ее оптический прибор, дабы вернуть ей. Дама отшатнулась от него в ужасе.

Упомянутый лорнет Трепсвернон обнаружил у себя в кармане сюртука, спеша из постели в приемную д-ра Рошфорта-Смита. Одна линза треснула маленькой сносной-звездочкой.

Пока д-р Рошфорт-Смит говорил, Трепсвернон нырнул рукою в карман брюк. Там он пережил одно из экзотичнейших своих разочарований: пальцы его сомкнулись – крепко – на несъеденном ломте именинного торта.

– С вами все в порядке, мистер Трепсвернон?

Пациенс кашлянул.

– Вполне... э-э, дело лишь в том, что нынче, как я думаю, довольно тепло, – проговорил он.

– Мне так не кажется, – ответил доктор, глянув на свой огонь.

– Сдается мне, душновато, – произнес Трепсвернон. Он старательно подчеркнул ложное жужжанье осинога крыла в своем пришепетывании. И добавил к тому ж лишнее прочувствованное «простите» для дополнения воздействия, а у певчей птицы на другом краю комнаты сделался такой вид, будто ей противно.

Д-р Рошфорт-Смит вывел загогулину в оранжевой записной книжке.

– Не падайте духом, мистер Трепсвернон. Вы в хорошем обществе – в конце концов, и Моисей пришепетывал, и Господь Бог.

– Да неужели?

– Да! – Д-р Рошфорт-Смит развел руки. – И непростительно будет с моей стороны утаить от вас мои поздравления: в вашей дикции за эти несколько недель наметились определенные подвижки.

Трепсвернон промокнул верхнюю губу рукавом. На большом пальце у себя он заметил пирожную глазурь и сложил руки на коленях. По пути в приемную доктора он ненароком прошел сквозь паутину, и это жуткое ощущение того, что он запутался, что он пойман незримой силой, осталось с ним на все утро.

– Отрадно это понимать, благодарю.

– А теперь, – продолжал Рошфорт-Смит, возвращая камертон к себе на колени, – слегка расслабив подбородок: «“Сдайся!” – заорал Эзра, захватывая зубами язык изумленного Зенона».

Трепсвернону никогда не бывало до конца ясно, такие фразы – типовая проверка или же порождаются собственным измышлением д-ра Рошфорта-Смита. После первой встречи Трепсвернона отправили домой, наказав ему повторять «Стоеросовая Сьюзен сидела на солнечном уступе, собирая моллюсков и сладко распевая или слушая песни, сочиненные сиренами».

Из пустой болтовни на консультации Трепсвернон понял, что «Сьюзен» – имя отсутствующей миссис Рошфорт-Смит. Ее портрет сепией висел над камином у доктора, словно мошка в кринолине, застрявшая в янтаре, – увековечена, как мертвая. Д-р Рошфорт-Смит описывал отсутствующую Сьюзен как многолетнюю страдальицу от некоего таинственного, подтачивающего силы заболевания: ныне она уединилась в альпийском санатории для поправки здоровья. Несколько ее писем было разбросано у доктора по столу – в них описывались тонизирующее воздействие альпийского воздуха и новомодные завтраки из M?esli. Бедняжка Сьюзен со своими сиренами. Трепсвернону было как-то неловко поминать болезнь супругу доктора в таких располагающих декорациях, как свистящий солнечный уступ, что б она там ни делала – распевала ли или слушала песни сирен. После сорокового повтора он поймал себя на том, что на слово стоеросовая способен поставить по-настоящему пылкое ударение.

Все больше и больше Трепсвернон уверялся, что д-р Рошфорт-Смит отнюдь не намерен сообщать о жульничефтве в «Фуонвби» или порицать своего пациенса за то, что тот впустую тратит его время; он скорее измышлял нелепые вокальные упражнения, дабы посмотреть, насколько его посетитель готов длить этот фарс. Трепсвернон был уверен, что проклятущая певчая птаха определенно знала, что он лжет, – вероятно, пользуясь теми же инстинктами, какие, говорят, применяют животные, ощущая привидений или приближенье бури.

Однако сие новое злоупотребленье изумленным Зеноном и его языком невозможно было примерять без смеха. Ни лицо Трепсвернона, ни голова его, ни слизистая оболочка желудка справиться с таким сегодня не могли. Он отважился на отвлекающий маневр.

– А вы... простите, вы сказали, Бог шепелявил? – спросил он.

Явно предвидя вопрос, доктор подскочил к своему столу.

– Отошлю вас к Ковердейлу! Именно это место я отметил у Исайи, кажется – в Главе двадцать восемь...

Трепсвернон попробовал раскрошить по краям новонайденный ломоть вчерашнего именинного торта и втереть его в ткань под подушкой его сиденья. Певчая птица это заметила и пр?инялась колотиться о клетку.

– Да, а в другом месте – Моисей, вы не знали? – продолжал доктор. – Да, и Моисей! Все это отыскивается в Исходе. – Д-р Рошфорт-Смит прикрыл глаза. – «Но Моисей сказал Иегове: о! Господи! я человек неречистый, и таков был и вчера и третьяго дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим, я тяжело говорю и косноязычен»[1 - Исход, 4:10, пер. Макария Глухарева (1860-1867). – Здесь и далее примеч. перев.].

– Я и понятия не имел, что оказался в столь избранном обществе, – произнес Трепсвернон, убедившись, что доктор договорил.

Ковердейл захлопнулся, и лицо доктора сделалось горестным.

– Посредством шипа зло проникло в сей мир... – Трепсвернон прекратил крошить торт и окаменел в кресле. – ...и, быть может, благотворнее будет считать ваш недуг ничем не большим, нежели напоминанием об этом.

БЛЯМ, громыхнула птичья клетка.

Доктор резко свел ладони.

– Однако нет здесь ничего такого, чего нельзя было бы исправить. Итак, будьте любезны: «Сдайся!» – заорал Эзра...»

* * *

Трепсвернону удалось поддержать кое-какой диалог, кое-как что-то повторить, и его не стошнило на собственную обувь: этим следует гордиться, не забыл подумать он, когда кровь отхлынула у него от головы, а перед глазами все поплыло.

– И на сем конец нашей предпоследней консультации, – произнес доктор. Обмахнул руками колени.

– Больше никаких языков и галек? Никакого Зенона? – Трепсвернон провел пяткой ладони себе по волосам.

– Я посмотрю, сколько еще Зенонов сможет поучаствовать в нашей последней встрече на будущей неделе.

Следующий посетитель д-ра Рошфорта-Смита уже дожидался в коридоре – юная девица лет семи, чья мать щебетала здравствуйками! и добрыми утрами! От попытки потрепать себя по голове девочка увернулась. Трепсвернон узнал ее по предшествовавшим неделям, когда, любопытствуя, поинтересовался о причине, почему ребенок посещает сию практику. Девочка, очевидно, страдала от чего-то вроде идиоглоссии и совершенно отказывалась разговаривать в чьем бы то ни было присутствии. Читать и писать она умела исключительно, но совершенно онемевала в обществе. Д-р Рошфорт-Смит пояснил, что родители подслушали, как наедине с собой она разговаривает на языке, который сама же измыслила. Будучи спрошен, достиг ли он своим попечением каких-либо результатов, доктор

прямого ответа не дал, но сообщил, что посредством бумаги, ручки и оранжевых карандашей они установили, что девочка беседует с воображаемым тигром. Тигр этот сопровождал девочку повсюду и прозывался м-р Бурч.

Тем утром, разминувшись на пороге приемной д-ра Рошфорта-Смита, оба пациента встретились взглядами. Когда девочку с матерью вводили в кабинет доктора, м-р Бурч предположительно оставался в коридоре. Трепсвернон представил себе, как м-р Бурч с незримым, алчным рвением рассматривает певчую птичку в кабинете. Трепсвернон обратил к девочке краткую заговорщическую улыбку.

Дитя обозрело его с озадаченной учтивостью. Затем девочкино лицо потемнело, и она испустила тихий, но отчетливый рык.

Мост мост мост

Питер Трепсвернон забрал свою шляпу и довольно поспешно сбежал по лестнице на улицу.

В – вуаль (сущ.)

Моим заданием на день было проверять за Дейвидом Суонзби оцифрованный его усилиями текст «Нового энциклопедического словаря Суонзби». Он мечтал увековечить имя семьи, а также масштаб и видение его предков-редакторов тем, чтобы обновить неоконченный словарь и выложить его в сеть бесплатно. Об этом говорил он как о проекте благородном, предназначенном для совершенствования человечества, и также видел в этом способ упрочить наследие Суонзби как чего-то законченного и выдающегося, а не благородного унылого ничтожества.

Наедине с собой я заглянула в статью гордыня (сущ.).

Чтобы мечта эта осуществилась, почти все скудные финансы Суонзби вкачивались в оцифровку словаря и усовершенствование его определений. Первое, последнее и единственное физическое издание неполного «Суонзби»

вышло в 1930-е на основе громадного архива брошенных заметок и гранок, сделанных в предшествовавшие десятилетия, поэтому задача сейчас стояла немалая. В наших разговорах Дейвид очень ясно давал понять, что новых слов к этому архиву он добавлять не станет, ибо это, судя по всему, не отвечает самому духу Суонзби: скорее он желал бы удостовериться, что уже определенные слова обновлены для нынешней публики.

Узнав об этом, я не могла не отметить, что онлайн-словари уже существуют, онлайн-энциклопедии каждую секунду обновляются как специалистами, так и любителями. Показала это ему у меня в телефоне. Но они – не конкуренты. У Дейвида сделался скучающий вид, и он, похоже, несколько обиделся на то, что я не разделяю его представлений.

– Но чтобы имя Суонзби добавилось к списку, – сказал он, когда я перечислила названия различных сайтов. – Чтобы наконец-то упокоить «Энциклопедический словарь Суонзби»!

Такой логики я не понимала, но непонимание логики позволяло оплачивать счета. Всякий раз минув портрет проф. Герольфа Суонзби в нижнем этаже, я у себя в телефоне искала статью, не наследуется ли чудачество генетически.

Каждый день Дейвид Суонзби скрывался у себя в кабинете и по многу часов тратил на перепечатку каждой отдельной статьи из своего семейного словаря, по мере своих сил и способностей совершенствуя каждое определение. Если начистоту, я думаю, одна из главных причин задержки с оцифровкой словаря – и того, что моя «стажировка» затянулась более чем на три года, – состояла в открытии Дейвидом онлайн-шахмат. Мало того: он обнаружил сайт, на котором можно «играть» так, словно участвуешь в знаменитых, исторических шахматных турнирах, – какая-то программа извлекала архивные данные и предоставляла оригинальные ходы, сделанные в конкретных партиях тем или иным игроком, а значит, можно померяться мастерством с призраком того игрока и посмотреть, удастся ли против него выстоять. Больше восьми месяцев Дейвид провел за партией, впервые сыгранной в 1926 году. В онлайн-игре он выступал как Херолд Джеймс Рутвен Мёрри (1868–1955), выдающийся историк шахмат первой половины XX века. Вы, вероятно, знаете его как шахматного историка. А также – как одного из одиннадцати детей первого редактора «Оксфордского английского словаря». Проходя всякий раз мимо кабинета Дейвида и слыша, как он колотит руками по своему ноутбуку и ругается с экраном, я невольно думала, что так он пытается уговорить еще и старую

вражду между «Суонзби» и «Оксфордским английским». Не знаю, выиграл ли он вообще. Уверена, что о таком он мне сообщил бы.

Однажды вечером у нас дома я попыталась объяснить оцифровку Пип. Почти все заметки к словарю сделаны в последние годы XIX века, и те слова, какие появляются или не появляются на его страницах, отражают свое время. Я обозрела кухню в поисках примера. Вот, скажем, фильтр-пакет. В 1899 году такого слова никто еще не употреблял, поэтому в корпусе словаря оно не возникнет.

- А глагол от него? - спросила Пип. Грубо. Я скроила гримасу.

В 1899 году фильтр-пакету лишь предстояло всплыть на черновых страницах или в набросках столбцов. Чайный пакетик еще не изобрели. Если верить прочим словарям, опубликованным в то время, в 1899 году никто еще не мог крутить солнце, потому что такое сочетание слов еще не полностью прижилось, да и ездить на эскалаторе. В 1899-м еще не один год до того, как бездарь, летчик и общага появятся на страницах английского словаря. Современное значение слов бодун и перепой как чего-то имеющего отношение к алкоголю, возникли не раньше 1930-х годов, поэтому на изничтоженных войной страницах «Суонзби» они так и не появляются. Язык, разумеется, развивался дальше. Бог знает, что произошло на конторской вечеринке, чтобы потребовалось такое обновление.

Чем больше думала я об этом на работе, тем больше мне нравилось близкое-но-недостижимое звучание 1900-го и его неологизмов – тех слов, что проникали в те годы в уста, уши и чернильницы. Фильтр-пакет, летчик, фин-де-сьекль. XX век, судя по всему, получился гораздо веселей, чем XIX-й с его ярыжками-лексикографами.

В 1899 году слонов еще убивали вовсю и помногу – чтобы удовлетворять спрос на высококачественные бильярдные шары: из одного бивня их вытачивали не больше четырех. Эти факты нашлись в статье Кость слоновая, торговля оной в Томе V, когда я из чистой скуки немного забежала вперед в свой первый день чтения словаря. А потом зазвонил телефон, я умостила трубку между плечом и подбородком с мыслью об убиенных слонах – и ответила.

Обновлять смыслы статей в энциклопедии или словаре – или в энциклопедическом словаре – разумеется, понятие не новое. Почти все время я

об этом читала – между приступами паники по телефону и поеданием обедов в чулане. Требуется обновлять биографии, переименовываются или совсем исчезают страны. В этом отношении «Суонзби» был в хорошем обществе – и в долгой череде справочных трудов, пытавшихся не отставать от времени: «Пропозиции» Эйбрахама Риса были опубликованы в попытке отредактировать «Циклопедию» Чэмберза (1728), и Рис в своих проповедях, предварявших публикацию, подчеркивал, что в его намерения входит «исключить устаревшую науку, сократить избыточные материи». Наука развивается, новообразованные слова и успехи в понимании постоянно делают предыдущие дюймы статей в столбцах избыточными, если не бессмысленными. Например, в экземпляры «Национальной энциклопедии» XIX века включены статьи на слово малярия, в которых заболевание описывается как передающееся неким странным ноуменальным эфиром, таящимся над болотами, *mala aria*, дурным воздухом: факты, в общем, истинны и этимологически состоятельны, но в описании борьбы с малярией не учитывают роли moskitov. Дейвид всегда споро отмечал, что «ОАС» в своих самых ранних изданиях не учел аппендицит (сущ.) – это упущение в пух и прах раскритиковали в 1902 году, когда коронацию Эдварда VII задержал именно этот недуг и само слово стало широко употребляться средствами массовой информации.

Обыкновенный словарь зачастую определяется специфической интеллектуальной средой лексикографов и, потенциально, их личными предубеждениями. Дейвид Суонзби, несомненно, утешал себя мыслью, что совершенный энциклопедический словарь, свободный от ошибок и полностью целесообразный во всех своих частностях, невозможен, поскольку любому составителю или составительскому органу недостает полного объективного охвата. Ни один человек – не остров, ни один словарь – не закрепленная на небосводе звезда или трали-вали как-то там. Конечно, решение убрать какие-то слова для того, чтобы в словаре могли занять свои места слова «позначимее», может оказаться противоречивым. Недавние редакторские предложения заменить, к примеру, понятия сережка древесная и каштан конский на копипаста и широкополосный в издании «Оксфордского словаря для юношества» удостоились общенационального освещения в прессе и множества возмущенных откликов. В ответ на свои онлайн-обновления «Суонзби» получил гораздо меньший отклик – главным образом потому, что едва ли кто-то их заметил.

Едва ли кто-то.

Телефон зазвонил вновь.

Никакими новыми словами пополнять «Словарь» не предполагалось, хотя многие из уже присутствовавших следовало осовременить. Например, требовалось подправить глагол освежить после его версии-1899, где «распечатать письмо» означало нечто совсем иное. Сходным же манером, слова метка, вирусный и друг с их возникновением довольно сильно изменились. Еще одним таким словом был брак.

Определение брака 1899 года начиналось так (выделено мной [Сколько раз вам выпадало это действительно сказать?]):

брак (сущ.), относится как к деянию и церемонии, посредством коей учреждаются отношения мужа и жены, так и к блаженному физическому, юридическому и нравственному союзу между мужчиной и женщиной в полном их единстве, готовых к основанию семьи.

Для нового цифрового издания Дейвид усовершенствовал это так:

брак (сущ.), относится как к действию и церемонии, посредством которой могут быть учреждены отношения одной личности с другой, так и к физическому и юридическому союзу между этими личностями.

По какой бы то ни было причине именно это изменение вызвало кое-какое бурление в прессе. Из-за него же начались и телефонные звонки.

Помимо ответов на звонки в мои служебные обязанности входило проверять орфографию и пунктуацию в усовершенствованных Дейвидом словарных статьях. Работа это была кропотлива, поскольку Дейвид терпеть не мог современную технику, если она не была онлайн-шахматами. Кроме того, он скупился на покупку конторского оборудования. Пользоваться компьютером в «Суонзби-Хаусе» означало ненависть к созерцанию песочных часов. На загрузочной заставке моего компьютера такие часы были безмолвными, одноцветными и меньше ногтя: шесть черных пикселей в верхней луковичке и десять в нижней. Интересно, сколько месяцев жизни люди тратят, вперяясь в этот рисуночек с тонкой талией? Поневоле я задумалась о всяких разводах на той клавиатуре, что мне досталась в наследство. Не вполне серые, не совсем черные, не очень бурые. Что это – кожа? Копоть? На память пришел возвратный

глагол отшелушиваться. Понятие кожное сало. Летопись предыдущих рук, покоившихся на этом же самом куске пластмассы. Некоторые, возможно, уже умерли, и вот эта потертость может оказаться единственным их следом, оставшимся на земле. От клавиатуры меня стало подташнивать.

Но вот эти загрузочные песочные часы. Еще парочка пикселей висела в центре рисунка, подразумевая, что песок сыплется, – при наблюдении за этой заставкой песочные часы вращались вокруг своей оси, словно их переворачивали и пере-переворачивали пальцы незримого модератора. Это же все знают. К чему утруждать себя объяснять самой себе песочные часы? Тесное соседство с энциклопедическими словарями превратило меня в зануду. Словоблудие, схоластика, скукотищащаща. Уверена, что не одна я в ужасе от песочных часов. Работает вот так человек со стрелочками и указательными пальчиками компьютерного курсора, и это настоящее потрясение, когда он вдруг преобразуется в инструмент, нацеленный на какое-то другое деяние – деяние, не только человеку не подвластное, но еще и более приоритетное. С операционной системой, которая слишком занята, чтобы принимать вводимое с клавиатуры или мыши, вы застряли, куда компьютер ваш не договорится сам с собой, а до тех пор нежеланное общество вам будут составлять вращающиеся песочные часы.

Телефон у меня на столе еще раз резко прозвонил.

Быть может, песочные часы вызывают столько беспокойства потому, что не предлагают ни единого намека на облегчение, какое рано или поздно наступит. Да, подтверждают они, ты загниваешь, не слезая со стула! В этом нет никакого смысла! Все это ни к чему! Зачем ты разучивала все эти гаммы, зачем учила наизусть слова песен, почему вообще тебе не было безразлично, правильно ты произносишь произношение или нет? Нескончаемый ручеек песка из одного обращенного конуса в другой никак не указывал на то, что отсчитывается какое-то конкретное количество времени. То есть вот правда – песочные часы были идеальным символом фрустрированного струения, а не продвижения вперед: образ неизменной, неизбежной «настоящести», а не посул какого бы то ни было будущего. Циферблат без стрелок, быть может, оказывал бы столь же макабрическое воздействие. Струение и макабрический. Что было у меня в тех крутых яйцах? Я вообще кем себя возомнила?..

Телефон прозвонил еще раз.

Иконография песочных часов намекала на некую поступательность: все природное движется к смерти. Для бодрости конторского духа так не годится. От ожидания того, как песочные часы на компьютерном экране опорожнятся и наполнятся, а потом опять опорожнятся, возникало ощущение не просто тщеты, но и смертности. Я понимала, почему они излюбленный реквизит всякий раз, когда б в западной культуре ни возникала фигура «Отца-Времени» или «Смерти», и если б Белый Кролик в «Алисе в Стране чудес» у Диснея по описаниям кричал: «Ах, боже мой, боже мой! Я опаздываю»[2 - Пер. Н. М. Демуровой.], – стискивая в лапках песочные часы, а не карманные, выглядел бы он гораздо более морbidным (это я науглила со своего телефона) сигилом зайцеобразных. Соперничая с черепами, догоревшими свечами и гнилыми плодами, песочные часы – также один из неувядающих тропов в ванитасах – произведениях искусства, иллюстрирующих собой физическую бренность мира. Смятые тюльпаны, высохший пергамент. Упирая на этот сатурнический восторг коронных номеров *memento mori*, пиратские корабли XVII и XVIII веков на флагах своих рядом с более знаменитым символом – черепом с костями – несли песочные часы. Иконография песочных часов также превалирует на множестве надгробий, где зачастую сопровождается такими девизами, как «*Tempus fugi*» («Время летит») или «*Ruit hora*» («Час истекает»).

Рабочий компьютер был стар и медлен: неделей раньше мне пришлось дожидаться двух оборотов песочных часов, проверяя в словаре, лежавшем под рукой, понятия обращенный конус и сатурнический.

Телефон у меня на столе издал четвертый звонок – обычно дольше я выдержать не могла.

Тем не менее образы песочных часов не всегда совпадали с ощущением безнадежности. Вообще-то, если вдуматься, иногда они существуют как символ определенной необходимости не упускать свой час: наверное, по этой причине песочные часы и фигурируют на многих геральдических гербах. Я проверила. Разумеется. Среди своих определений посмачнее сетевой UrbanDictionary.com дает на глагол *песчасить* вот что: «когда компьютер “думает” и временно не реагирует. Компьютер, не зависнув окончательно, *песчасит* и тем производит потенциально ложное впечатление производимой работы». Множество семейств объединяются в безысходном, вовсе не праздничном ужасе за игрой в «Шарады» или «Угадайку», когда сквозь горлышки поставляемых в комплекте часов протекают последние песчинки. Хронометр такого размера предназначен обычно для варки яиц. Хотя в обществе любителей завтракать яйцами всмятку

такое наименование, возможно, и практично, я, честно говоря, считаю, что в яйцетаймере недостает поэзии другого возможного синонима – клепсаммии. Лексикограф Ноа Уэбстер поместил это слово в свой словарь 1828 года: его этимологические корни – греческие слова, обозначающие песок и воровство, а мысль здесь такова, что с каждой песчинкой, проваливающейся сквозь талию часов, отнимается еще один миг. В клепсаммии определенно слышится приятное свистящее пощелкивание, и само слово напоминает собой гладкое струение содержимого из одной луковицы в другую, равно как и переворот всего корпуса часов. В отличие от «Уэбстера» «Новый энциклопедический словарь Суонзби» в своем опубликованном неполном издании 1930 года словом клепсаммия пренебрег. Однако хроно-метр он предоставляет в виде сложного слова, написанного через дефис. Со своей симметричностью и маленьким перешейком дефиса между двумя частями хроно-метр на странице выглядят как сам предмет – лежат или уравновешены в полуповороте.

Телефон все еще звонил, буря мне череп.

Конечно, песочные часы – не единственный символ, сопровождающий незадачливых компьютерных пользователей (меня) и их периоды ожидания. В программных продуктах «Яблока» вращается сфера, ласково именуемая «Пляжным Мячом Смерти» или «Радугой Рока». Моя старенькая «ЕжеВика» время от времени предъявляла мне рисунок квадратного циферблата, на котором безудержно вращались стрелки. Ежевичное время, яблочное, яичное. Дома у меня лэптоп был новее компьютера в конторе и работал на гораздо более современной операционной системе. Лишенное песочных часов, мое ожидание зато сопровождалось их заменой, их наследником: тлеющим кольцом, крохотным зеленым уроборосом, вечно пожирающим собственный хвост. То же самое раздражение никуда не делось – словно в ловушке подвешенности, а вовсе никуда не движешься, только теперь уж без эзотерического устройства для учета времени. Этот тлеющий кружок отчего-то казался более клиническим и бесчеловечным, а его культурные подтексты имели меньше отношения к пиратам и Отцу Времени, а больше к ЭАЛ9000 из «Космической одиссеи 2001 года» или передней сканирующей полосе «НИДТ» из «Рыцаря дорог». Вооружившись иконографией из ванитас, другие операционные системы будущего, возможно примут на вооружение такие символы тщеты, как черепа или снулые цветики. Возможно, удастся заставить маленького пиксельного Сизифа карабкаться у меня по линейке прокрутки. В том виде, что у них был и есть, песочные часы ушли в прошлое, и мне их не хватало. Темпус продолжит фугить, это как пить дать, но у нас хотя бы когда-то имелась возможность наблюдать, как изысканно оно истекает.

Само понятие песочные часы утратило для меня какой бы то ни было смысл, если не считать неистовой ярости.

Телефон издал еще одну капризную трель. Я вздохнула и сняла трубку, окаменело улыбаясь пятну на стене напротив моего стола.

– Алло, издательство «Суонзби», – проговорила я, – чем я могу вам помочь?

– Гори в аду, Мэллори, – раздался синтетически искаженный голос на другом конце провода.

– Да, – ответила я и показала пятну большой палец. – Да, вы дозвонились до нужного отдела. Чем я могу вам помочь?

В трубке засопели. Оцифрованное дыхание воланом долетело до меня по телефонной линии.

– Дважды за один день, – сказала я. Сама не знаю, зачем.

– Здание заминировано, – произнес голос. Затем трубку повесили, а песочные часы у меня на экране кувырнулись в последний раз.

Г – глаголемый (прич.)

Трепсвернон располагал закономерным желанием отложить неизбежность начала своего рабочего дня на как можно дольше. Обычно у входа в Суонзби-Хаус толпилась стайка лексикографов в сходном состоянии ума, канитреплясь о погоде или состоянии газонов близлежащего Сент-Джеймзского парка, подсчитывая свои сигареты и теребя пуговицы перчаток. В этой текучей компании обычно разворачивалась некая игра в этикет: каждый участник отчаянно пытался продлить свой срок за пределами конторы. Правила игры никогда не оговаривались, а этот спорт уж точно никогда не признавался в явном виде как способ бездельничать в рабочее время. Полагалось отгибать на лбу поля шляпы и оглашать свое восхищение кирпичной кладкой Суонзби-Хауса, похожей на

бекон с прослойками жира. Чем больше терминов архитектуры могли вы при этом употребить, дабы выразить свое восхищение, тем больше очков зарабатывали. Игра заканчивалась, когда сказать вам больше было нечего или молчание становилось слишком уж неловким. В тот миг и начинался рабочий день.

А у Трепсвернона рабочий день начинался позднее обычного часа, и со-лодырей, к каким можно прибиться на ступеньках парадного входа, уже не оставалось. Он вздернул подбородок над лацканом своего сюртука, чтобы оглядеть здание и придавить хаос головной боли списком уместных терминов. Бекон с прослойками жира – это, вероятно, не устроит знатоков в данной области, поэтому начинать с такого описания кладки паршиво. Стиль дома – королевы Анны? Не так ли сообщили ему одним таким мешкотным, бездельным утром – или же он ослышался, и правильный архитектурный термин, описывающий форму, проект, материал Суонзби-Хауса, – ролевиан? Тогда он просто покивал, букв. приняв сказанное. Язык вы принимаете, вы скорее склонны ему доверять, а проверять его вовсе не обязательно. Ролевиан бы, разумеется, не стал самым невероятным архитектурным термином, что ему попадались, – в работе над «Новым энциклопедическим словарем» недавно пришлось исследовать систиль, тромп и щипец, и каждое такое слово болталось у него во рту непривычными текстурами и шлепками. Всякое слово кажется чепухой, пока не понадобится или вы не узнаете о нем больше. Взгляд Трепсвернона переполз с ролевиановых ступеней и беконных стен к окнам первого этажа, ключ-камням второго, эркерам в этажах повыше, а оттуда – к сандрикам и трубам, к дурацкому пустому небу января, к мазку скворца или голубя на кованой флюгарке, и т. д., и т. п.

Пора помогать бессмысленной переписи языка. Долее Трепсвернон откладывать не мог. Поправил галстук и навалился плечом на широкую деревянную дверь.

Укоренившиеся повадки проявляются бессознательно. Некоторые вполне машинальны, есть у многих: например, позыв отдернуть руку от струйки пара из чайника за завтраком или испарина на лбу, чтобы тело оставалось прохладным. Порой такие отклики сознательно вырабатываются, а вовсе не произвольны. Начинается все с отдельных поступков, которые постепенно ритуализируются привычкой, пока не встраиваются в культуру повседневных действий. К примеру, Трепсвернон не мог представить себе, как переступает через каменный порог Суонзби-Хауса, чтобы на язык ему, подобно решетке крепостных ворот, не опустилась бы его фальшивая шепелявость. Теперь ему даже не приходилось об этом задумываться.

В «Новом энциклопедическом словаре Суонзби» он прослужил довольно долго – у него успела развиться некая мышечная память. Тело свое он направил от парадной двери к вешалке, а оттуда – наверх, к своей конторке в главной Письмоводительской на первом этаже, точно зная ту инерцию, с какой размахнуться рукою, дабы действеннее всего зацепиться за перила и отпустить их. По лестнице шагали ноги не одного лишь Трепсвернона – по каменным ступеням шуршали мост мост мост еще и мягкие лапки: то в Письмоводительскую его сопровождал один из множества котов, кому проф. Герольф Суонзби позволял невозбранно бродить по всему издательству и не подпускать мышей к бумажным документам. Мышелов этот был велик и желт, и Трепсвернон нагнулся и почесал ему за ухом. Пискнув, кот отвернулся. Возможно, у него тоже голова болит. Кошачьи мигрени, вероятно, глаже.

По пути от приемной д-ра Рошфорта-Смита к Суонзби-Хаусу Трепсвернон возвратился к своим досадливым размышленьям о том, почему не измыслили слова для той особой разновидности головной боли, какой он сейчас мучился. Горькая злобредность ее побужденья, топкое бремя вины, сопряженное с ее существованием, – как физическое воздаяние за то время, что спустил в бутылку. Некоторая забывчивость, как будто память вытесняется болью. Чересчур перепиваешь и в итоге – вот эта боль: наверняка же мир по всему рынку ищет наименованья для этого недуга? А если подобного слова и впрямь не существует, нельзя ль назвать эту боль в честь самого Трепсвернона, сделать автоэпонимом? Сражен мерзейшим приступом трепсвернона. Увы, сегодня я не смогу придти на службу, у меня такой трепсвернон, что уму непостижимо. Это бы могло стать его наследием – так его имя прогремело бы в поколениях. Он сделал себе мысленную зарубку проверить, не существует ли уже такого слова где-нибудь в арго или диалекте – быть может, и есть что-либо земное и бодрящее где-нибудь в Дорсете с его грубыми фрикативами и гулками фальшивыми гласными.

В коридоре, соседствующем с Письмоводительской, Трепсвернона и кота приветствовал скрип подошв по паркету. Декорум в архитектуре есть годность здания, а также некоторых частей и украшений оного для его положения и предназначения. Круглая Письмоводительская со стеллажами по стенам в самой середине Суонзби-Хауса была светлым обширным помещением с высокими окнами и выбеленным лепным куполом. Арена для книжников с акустикой базилики. Даже в тусклый январский день солнечные лучи копьями втыкались в служащих Суонзби, а свет в воздухе свертывал пыль там, где та подымалась от потревоженных старых бумаг. В зале стояло по крайности пятьдесят конторок, все – на равных расстояньях друг от дружки и повернуты ко входу. Мазками

вспышек свет отражался от плоских лезвий ножей для разрезанья книг.

Почти все звуки в Письмоводительской связаны были с бумагой: посвист документации, перемещаемой по крышке конторки, чуть более запинчивый шелест страниц, раскладываемых по порядку, или же хуххкунк-ффппп книги, извлекаемой из своего гнезда среди полок, шедших кругом по всей просторной зале. У лексикографа имеется позыв эдакое категоризировать. Все это излучало любезное сердцу спокойствие, как в соборе, по сравнению с кошмаром оранжевой иволги в кабинете д-ра Рошфорта-Смита, не говоря уж о резком гомоне и сутолоке Бёрдкейдж-уок и множества других лондонских улиц. Общий шум здесь был глух: шорох страниц, плюханье кошек с конторок на пол да время от времени шмыганье носом либо чих и предоставляли всплески звука, а иначе даже от своих конторок к упорядоченным ячеям картотек, вправленных в стены сводчатой Письмоводительской, лексикографы перемещались совершенно бесшумно. Ячей эти располагались по алфавиту в исполинских башнях полок с этикетками, расставленных по всему периметру залы.

Ячей – в зависимости от того, хороший день выпал в «Новом энциклопедическом словаре Суонзби» или скверный, лексикографы неофициально их называли сотами или клоаками. Конторка Трепсвернона располагалась среди слов на букву «С».

Он украдкой скользнул на свое место, в голове звенело по-прежнему. Понятия украдки, казалось, характеризовали даже самые текучие его телодвиженья. Точно так же, как на язык его нисходила шепелявость, едва вступал он в здание, так и плечи его вроде б неестественно вздергивались, когда усаживался он за свою конторку. Трепсвернон интуитивно потянулся к регламентированной ручке «Суонзби». На обычном месте ее не оказалось. Он взглянул на свои руки, словно пытаясь припомнить, к чему вообще их можно применить.

Беседы в Письмоводительской происходили в приглушенных тонах. Все они велись на уровне шепота, ропота или воркованья, ежели не считать редких мгновений особенного вдохновенья – либо же когда осознавалась некая сугубая ошибка и вспыхивала досада. В общем и целом посматривали на такое косо, но, в конце-то концов, даже самый небрежный из лексикографов – всего-навсего человек, и сам Трепсвернон, разумеется, в подобных помехах бывал виновен. Описки и грамматические промашки мозолили ему глаза и вызывали телесный отклик. Напряженье хотя б отчасти обычно стравливалось бодрим цык.

Вероятно, все читатели такое переживают: умело сработанный речевой оборот скользит сквозь читающий ум, словно вервие в руках, а когда в этой фразе содержатся ошибки либо есть отвлекающие вниманье двусмысленности, причудливый синтаксис или же какая-либо лексическая либо грамматическая отрывка, продвижение вервия этого препинается или грубеет. Сравните текстуру мотков вот этих двух примеров:

Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей же чаю.

Сещъё шь гмятих фрабулских цузок, жа выю де чапей.

В последнем случае цык наверняка можно извинить.

Сотрудник, занимавший конторку обок Трепсвернона не цыкал. Когда б ни случилось Билефелду наткнуться на ошибку или иной перебой на странице, из глотки его вырывалось некое всхлипывающее ржанье, словно он давился. Звук был вполне тревожный, и Трепсвернон частенько вздрагивал. Глаза у Билефелда расширялись, ладони подтягивались к аккуратным бакенбардам на щеках, и в воздухе разносилась тихая, высокая, звонкая трель. Звук сей по своему происхождению был животным, но к тому ж немногим отличался от того, какой производит палец, влачась по винному бокалу. Кошки и лексикографы оборачивались на него. Засим мгновенье миновало, и на физиономию сослуживца возвращалось спокойствие: Билефелд преодолевал ошибку в строке или перечитывал страницу, после чего продолжал как ни в чем ни бывало.

Мир в издательстве «Суонзби» нарушался подобным клетотом более чем регулярно, и никто, помимо Трепсвернона, вроде бы не возражал.

Звонкофыркучий сотрудник Билефелд уже строчил у себя за конторкой слева от Трепсвернона. Очертаниями своими походил он на графин. Справа же от Трепсвернона сидел Апплтон, напоминавший собою кофейник. Все трое обменялись привычными звуками приветствий.

Вся конторка Трепсвернона была усыпана вчерашними каталожными карточками и мятыми клочками бумаги, готовыми к работе, пусть даже сам он готов к ней и

не был. Трепсвернон пожалел, что ему не пришло в голову прибраться у себя на столе. Чистая конторка, чистый ум. И это должно тоже как-то называться – когда окружающая среда у тебя обустроена так, чтобы внушать спокойное и разумное прилежание. Потачливо будет измыслить такое слово. Однако – если он на это подвигнется – быть может, окропленное классической латынью, прохладное в гласных и каденциях своих, как мраморная статуя. Да, возможно, следует привлечь нечто от *quiescent*, *quiescens*, причастие настоящего времени от *quiescere*, «упокоиваться, пребывать в тиши». Приводя в порядок стол, он рассуждал о композиции нового слова так, словно бы составлял рецепт. Можно зачерпнуть из запаса *quiescens*, значит, но прибавить сюда устойчивого воздействия «свободного пространства для маневра» или же «легкости», подразумеваемых чем-нибудь вроде старофранцузского *eise*, *aise*, родственного провансальскому *aïs*, итальянскому *agio*, «освобождать от тягостных или утомительных обязанностей», затем подмешать что? – что-нибудь добытого в альпийской прогулке до освежающих притоков свежести через *fersh*, «несоленый; чистый; сладкий; рьяный» через староанглийское *fersc*, «водяное», что само по себе перенесено из протогерманского *friskaz*. Вот и спрыснуто новое слово ясною свежестью этимологии. И так: его конторка могла б быть фресквисентной и готовой к работе?

По плечу Трепсвернона похлопала рука, отчего он прямо-таки подскочил на стуле.

– Празднование-то вчера вечером удалось, ха!

Трепсвернон перевел взгляд с руки на лицо, уставившееся на него. Служа у Суонзби, он сознательно старался не разрабатывать таксономию своих сослуживцев. Даже приватное каталогизированье (Билефелд: графин; Апплтон: кофейник) мнилось несправедливым, даже вроде бы обесчеловечивало, однако многие фигуры просто-таки напрашивались на устойчивые типажи. Не желая, стало быть, впадать в стереотипы или признавать штамп.

Трепсвернон понимал, что личность, оживленно моргавшая ему сейчас, была ученым англосаксом. Весь этот конкретный подвид в стойле лексикографов Суонзби, казалось, состоит наполовину из облаков. Белые облака лежали у них на головах, липли к подбородкам – облачны были их глаза, а дыхание отчего-то – теплей и гуще, нежели у кого-либо иного, если склонялись они для того, чтобы что-то произнести, чересчур близко. А наклонялись чересчур близко они всегда, будто их к сему подталкивал незримый галфинд, и, похоже, перемещаясь, вечно

занимали много места – неизменно предпочитали двигаться по самой середине коридора или прохода между конторками, а не держаться какой-то одной стороны. Пространство собою заполняли они мягко, не напористо. Ученые англосаксы скорее парили, нежели шагали или неслись.

Выражались они мягко, комковатыми напевными гласными. Этот экземпляр не был исключением.

– Празднование, – повторил Трепсвернон. – Вчера вечером? Да, вполне удалось празднование, очень удалось.

Облако кивнуло, улыбнулось, сдулось прочь.

Наполнение и длительность бесед Трепсвернона под куполом залы обыкновенно подпадали под определенные шаблоны. К примеру, пухобрадый гений, стоявший за «Новым энциклопедическим словарем Суонзби», проф. Герольф Суонзби, проходя до обеда мимо конторки Трепсвернона, всегда произносил: «Доброе утро, Трепсвернон!» Всегда с одной и той же интонацией и порядком слов. Имелся там мальчишка Эдмунд, нанятый разносить пакеты писем и бумаг. Стоило ему оказаться рядом, как его плетеная тачка исторгала ноту из-под своего задышливого колеса, и восклицанье Эдмунда «Вот ваше!» неизменно вызывало «Значит, поглядим, что у нас тут!» в ответ. Тем же самым тоном каждый раз, с одинаковыми высотой, диапазоном и громкостью.

В тех редких случаях, когда к конторке Трепсвернона подходил сотрудник, дабы заметить что-либо о погоде, крикетном счете или же мелком политическом предмете, с вопросами, судя по всему, они к нему не обращались никогда. Никто никогда не заговаривал с ним в расчете получить определенный точный ответ.

Трепсвернону было интересно, как все они клишировали его. Предмет мебели. Пришепетывающая черта декорума.

Вот к нему приближался посыльный Эдмунд со своей тачкой, и, разумеется...

– Вот ваше! – раздался клич, а письма и бумаги шмякнулись на конторку Трепсвернона. От сотрясения, тот вновь невольно подскочил.

– А! Значит, поглядим... – Слова машинально вспрыгнули ему на уста. Глаза его уперлись в спину удалявшемуся облаку. – Поглядим, что... – продолжил он, и голос его ощутимо дрогнул, все еще слегка окуренный парами виски с вечера накануне.

Мальчишка уже перемещался к соседней конторке и совал руку в корзину за бумагами для Апплтона.

– Вот ваше! – сказал Апплтону мальчишка.

– Покорнейше вас благодарю, – беззвучно произнес Трепсвернон, ни к кому в особенности не обращаясь.

– Покорнейше вас благодарю! – ответил лексикограф, принимая бумаги.

Уложение было простым: каждый день Трепсвернон получал от публики различные слова и источники для их определений, сортировал их, оценивал и аннотировал. Когда он был готов составить для слова окончательное определение, записывал он его регламентированной ручкой «Суонзби» на зеленовато-голубой каталожной карточке, стопу которых держал перед собой. Карточки эти в конце каждого дня собирал Эдмунд и рассовывал по ячейкам, окружавшим Письмоводительскую в алфавитном порядке. Тогда слова и становились готовы ко включению в гранки «Словаря».

Взгляд Трепсвернона перехватил Апплтон.

– Вчера вечером домой добрался, Трепсвернон? Что-то ты с лица спал.

– Да. Да, а как же? – ответил тот. Как и ожидалось, Апплтон совершенно его проигнорировал.

– Должен сказать, первым делом с утра голова у меня была что твоя колокольня. Кто ж знал, что продажа ревеневого варенья обеспечит семейство Фрэшемов запасом таких прекрасных коньяков?

– А как же, – повторил Трепсвернон. И затем еще раз, хуже не будет: – Да?

– И все ж, – произнес Апплтон. Свой нож для бумаг он погрузил в конверты, разбросанные по конторке. – Приятно наконец-то повстречать счастливую парочку.

Трепсвернон моргнул. Всплыло воспоминанье о предыдущем вечере.

Тут встрял Билефелд:

– Фрэшем упоминал ее в своих письмах сюда, разве нет?

Голова Апплтона подалась к пустой конторке Фрэшема – единственной во всей Письмоводительской зале, очевидно свободной от бумаг и каталожных карточек. По краям же она была оперена приклепленными фотоснимками и сувенирами, присланными из его путешествий.

– Нет, не упоминал, – произнес Трепсвернон. – Ни разу.

– И так приятно к тому же, что Теренс вернулся в страну, где мы за ним может приглядывать, – сказал Апплтон.

– Кошмарнее некуда, – произнес Трепсвернон.

– Очень долго его не было, чересчур долго; а то из ума нейдут он и эта его безмолвная тень Глоссоп – трюхают Бог весть где и занимаются Бог весть чем.

– Баклажан, – вставил Трепсвернон.

Лицо Апплтона даже не дрогнуло.

– Но вчера было чересчур некогда, чтобы словцом с ним перекинуться, как положено; придется хватать его за рукав в следующий раз, как только соизволит сюда сунуться. Ты видел его с этой балалайкой? – ну и штукенция! Изумительный человек! Но... – Апплтон потянулся и передернул плечами. – За дело! – Он снова перехватил пристальный взгляд Трепсвернона. Тот безучастно улыбнулся. – Ты что-то сказал только что?

– Нет?

- Именно, - проговорил Апплтон. Ему хватило учтивости нахмуриться.

Хуххкунк-ффппп. С полки поблизости сняли книгу.

- Красотка что надо, правда ведь? - донесся голос Билефелда с другой от Трепсвернона стороны.

- Что-что? - произнес Апплтон и подался вперед, чтобы видеть поверх стола Трепсвернона. В этой позе, не мог не отметить тот, глаз Апплтона оказался в сугубой близости от нескольких карандашей, торчавших из оловянного стаканчика перед ним.

- Невеста же: как-там-ее? - напористо пояснил Билефелд. - Тебе удалось с нею поговорить?

- Не удалось, - сказал Апплтон.

- Не удалось, - сокрушенно повторил за ним Билефелд.

- Мне удалось, - произнес Трепсвернон, но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Он по-прежнему не спускал взгляда с карандашей и их близости к глазу Апплтона. Особенно один карандаш располагался от глаза всего в нескольких миллиметрах.

- Мне тоже не выпало удовольствия с нею поговорить. Весьма надменная, сочла я. - Из-за конторки у них за спинами донесся редкий женский голос - то была одна из близняшек Коттинэм, служивших в редакции словаря. Трепсвернон знал, что одна сестра - знаток норвежской филологии, а другая - авторитет в гэльской ветви кельтских языков, и сестры были б совершенно тождественны друг дружке, если б у одной волосы не были полностью черными, а у другой полностью белыми. Естественной причудой это не было, а достигалось применением разнообразных пигментов и масел, употреблявшихся, дабы установить хоть какое-то ощущение индивидуальности. Более того, та мисс Коттинэм, что потемней, как-то раз без приглашения пустилась в длительные объяснения того, что она убеждена: перед сном в корни волос следует втирать смесь рома и касторового масла - сим достигается развитие роста и здорового блеска волосяного покрова. Быть может, из-за этого режима воротничок ее

блузы частенько бывал испятнан как бы ржавчиной.

У Трепсвернона имелась теория: либо никто из персонала «Суонзби» не знал отдельных личных имен близняшек, либо всем это было безразлично. За его пять лет в «Суонзби-Хаусе» его ни разу не представляли ни одной из этой парочки поодиночке, а сам он не находил в себе уверенности поинтересоваться. В уме у себя, стоило возникнуть причине с ними заговорить, он их звал Приправами: одна с головой-перечницей, другая – с солонкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Исход, 4:10, пер. Макария Глухарева (1860–1867). – Здесь и далее примеч. перев.

2

Пер. Н. М. Демуровой.

Купить: https://tellnovel.me/ru/uil-yamz_eli/slovar-lzheca

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)